

УДК.316.7

DOI: 10.17223/1998863X/37/16

А.А. Маляр

## ТЕЛО ШАХТЕРА В ДИСКУРСИВНОЙ ТРАДИЦИИ УГОЛЬНОГО РЕГИОНА

*Проблематика современного социально-гуманитарного знания помещает тело индивида в фокус социологического, феноменологического, культурологического анализа.*

*На основе методологических теорий В. Подороги, М. Энаффа описываются позиции Шахтера и «тела шахтера» как структурных компонент публичного дискурса угольного региона. В контексте парадигмы экономики телесности Нового времени «тело шахтера» вступает в отношения обмена, имея некалькулируемый остаток, производящий коннотации жертвенности.*

*Ключевые слова: тело; дискурс; субъект; символический обмен; Другой.*

Последняя четверть XX века прошла во многом под знаменем телесности как предмета социального-гуманитарного знания. Тело-текст и тело-медиа-тор, каноническое тоталитарное и перверсивное тело, клинически анатомизируемое и демонстративно деформируемое тело начинает выступать новой универсальной единицей философского и социокультурного анализа, а телесные практики охотно признаются способом новой социальной идентификации [1. С. 114]. Неизбежно тесной в результате оказывается связь тела и дискурса, и мы едва ли ошибемся, предположив, что современность помещает тело на пересечении сразу нескольких противоречащих друг другу дисциплинарных дискурсов, пытающихся установить свои стандарты «естественного» тела: «...тело... как место, где сходятся все интересы, управляющие распределением сил, власти и кодов» [2. С. 34].

Не претендуя на сколь-нибудь полный обзор направлений социально-гуманитарного анализа телесности, обратим внимание на то, что доминирующие в настоящее время теории разрабатывались преимущественно в рамках критической социальной мысли – феминистской критики Джудит Батлер (идентичности как результата принудительного социального конструирования; культурной объективации тела); в анализе дисциплинарных механизмов воздействия и микрополитической регуляции тела Мишеля Фуко (тела как объекты знания и управления), свидетельствуя о том, что дискурс о теле (но не тело, о котором этот дискурс говорит) всегда интегрирован в систему распределения власти и, более того, находится на стороне эксплуатируемого, или – в мягком варианте – (вос)производимого объекта. Так, критический дискурс о женском, детском, инвалидном теле анализирует практики производства специфических типов телесности и установление отношений доминирования, разделения, исключения, производимого в отношении них. Конечно, исключаемое тело, например женское, или, напротив, бесплодное тело чайлд-фри производится затем, чтобы немедленно быть исключенным из порядка дискурса, в чем и состоит его роль, и для работы этой системы роль исключаемого тела не менее важна, чем роль тела доминирующего. Как след-

ствие, в иных социокультурных условиях место исключаемого тела с легкостью будет замещено любым сообразным типом тела с неизбежной структурной необходимостью – телом инвалида или, наоборот, излишне здорового, цветного, полного или пожилого человека.

Отличный, хотя и не радикальным образом, взгляд – со стороны биополитики и нозо-политики тела. Этот подход, основанный на принципах анализа Фуко, исследует отношения институциональной власти и телесных масс – граждан, горожан, девиантов и т.д. Изначально репрессивные (впрочем, репрессивность власти, безусловно, тоже является дискурсом, подлежащим анализу) методы управления телами подданных сменяются «позитивными» технологиями регулирования [3. С. 53]. Там, где контролируемое тело (ребенка, больного, перверта и проч.) прежде исключалось, наказывалось, уничтожалось, теперь оно является объектом заботы и ухода разных степеней принудительности. Генезис биополитики – движение от инструмента производства (общественного блага, добавленной стоимости, населения) к дару институциональной заботы о непослушных, неразумных телах, оказавшихся в ее распоряжении, репрессивность которой, пожалуй, состоит только в его необратимости. Стратегические ансамбли дисциплинарного управления телами включают истеризацию женского тела, педагогизацию сексуальности тела ребенка, социальную политику репродуктивных тел, психиатризацию извращенного удовольствия [4. С. 205–207]. Российская традиция изучения телесности, продолжающая методологию Фуко, представлена исследованиями антропологии и генеалогии медицины, социологической интерпретации медицинских практик [5]

С точки зрения постструктуралистских теорий дискурса любые телесные проявления и манипуляции (гигиена и медицинское вмешательство, забота о внешности, сексуальность и физические наказания) предусмотрены и являются инструментами соответствующих дискурсивных систем: так, новейшие средства поддержания «физической формы» (словосочетание, лингвистическая точность которого много превышает значение его привычного, идиоматического употребления) в виде пилатеса, фитнеса и др., безусловно, интегрированы в дискурсивные системы Современности, и то, что представляется эгоистической субъективной потребностью обладать красивым (пригодным для обмена, оправдывающим временные и финансовые инвестиции) телом, ни в малейшей степени не отменяет генезиса этих практик – социального принуждения к производству здорового развитого тела, маркированного значком ГТО, способного к физической работе и к обороне. Аппараты и средства так называемой альтернативной медицины – ультразвуковые приборы, биологически активные добавки к питанию, гомеопатические средства и прочие техники, демонстративно исключаящие прямое физическое воздействие на тело, грубое проникновение в него, химическое воздействие – то, что остается на долю официальной медицины, – в противовес им используют образ магического гармоничного тела, самоисцеляющегося, неприкосновенного для грубого технологического вмешательства.

Итак, тело возникает там, где возникает социально детерминированное высказывание о нем и соответствующая система физических объектов, соци-

альных и коммуникативных практик, а значит, тело является предметом, способом речи и актом высказывания Другого. Одна из ключевых характеристик субъекта, обладающего телом, – несовпадение локализации телесного и лингвистического «я» – места тела и места субъекта дискурса, что открывает возможности для отчуждения тела [3. С. 30–31].

Субъекту нужно пытаться встать на место Другого в своем теле, чтобы иметь возможность самому говорить телом. Индивид, телом обладающий, сам пытается обратить его в средство дискурса – попытка, из которой истекают мифологии «языка тела» и «языка одежды», семиотики телесных практик, «индивидуализация» посредством телесных модификаций (проколы, наращивание телесных поверхностей, окрашивание волос и поверхностей тела), иногда – в самом буквальном смысле обращения тела в поверхность наносимого текста – его татуирование и нанесение надписей (так, спортивные болельщики наносят на лица названия любимых команд, а экзальтированные девушки разрисовывают тела именами и лозунгами).

Занимая позицию Субъекта внутри своего тела, его владелец обнаружит, что тело ведет себя как код – оно говорит тогда, когда оно модифицировано – нарушено, украшено, излишне экстравагантно или нарочито небрежно. В свою очередь, тело нормированное, «естественное» говорит уже политэкономическими мифологемами – презумпциями «естественной красоты», полнокровного «рабочего» тела, анорексией истощенных тел медийной аристократии.

Впрочем, тело – не последний оставшийся в распоряжении субъекта рубеж сопротивления социальному, но – инструмент социального обмена. Поэтому предмет нашего исследования – специфическая дискурсивная традиция, сложившаяся в так называемых угольных российских регионах и, с той или иной степенью успешности, инкорпорируемая масс-медиа и бюрократическими структурами. Мы постараемся определить логику функционирования «тела шахтера» в данной традиции, иллюстрируя тезисы цитатами пользователей кузбасских интернет-сайтов.

Несмотря на то, что с учетом историко-экономических условий кузбасской промышленности мы вправе ожидать исполнения относительно Шахтера (с заглавной буквы – как фигуры актанта) ортодоксального левого дискурса (шахтер, эксплуатируемый монопольными корпорациями, форсирующими добычу ископаемых в ущерб безопасности), в режиме регионального дискурса Шахтеру отказано в классовой субъективности; он не может быть носителем классового сознания и, тем более, субъектом классового высказывания – все его социально-экономические притязания табуируются и исключаются теми же публичными агентами, которые в случае необходимости исполняются жалости и сострадания к его телу: так, среди обсуждения сообщений о выдвигаемых шахтерами требованиях и попытках эскалации ими производственных конфликтов (требования увеличения рабочего дня с 6 до 8 часов, выдвинутые в 2007 и в 2012 гг., требования повторной судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья шахтеров, пострадавших при аварии на шахте «Распадская», забастовка шахтеров Кушеяковской шахты в августе 2012 г. и т.д.) непременно

появляются и начинают доминировать тактики исключения, основанные на приемах:

1) оспаривания статуса шахтеров как эксплуатируемого класса, мотивируемые реальным или воображаемым относительно высоким уровнем их заработной платы: «Достали уже эти шахтеры, все проблемы из-за них, получают по девяносто штук в месяц, еще и забастовки придумали»;

2) оспаривания права шахтера на символическое доминирование в социальной структуре кузбасского сообщества, лицом которого они традиционно выступают: «Задолбали со своими шахтерами!!! Не нравится в шахте работать – иди в офис на 15 тыс. и не возмущайся»;

3) априорной бесполезности и вреде противостояния: «Трое молодых возобновили (очевидно, “возомнили”. – *Прим. авт.*) себя героями... работу потеряют, и все»; «эта выходка на шахте только мужиков на ровном месте озлобила. Сорвали график, поломали смены, лишили перед Праздником всех премий и подарков. Три чертополоха, из-за которых страдает весь коллектив».

Тело шахтера, однако, функционирует в региональном дискурсе вовсе не так, как Шахтер, а почти противоположным образом; оно максимально отчуждено от его обладателя и выполняет роль самостоятельной единицы, задающей собственную логику нарратива. Рассмотрим два аспекта обращения «тела шахтера» – семиотику его визуального представления и тела пострадавших шахтеров как объекты символического обмена.

Изображения абстрактного Шахтера на редкость стереотипны – это, как правило, поясной портрет (часто групповой) мужчин неопределенного возраста, в форменной одежде и каске, лица, руки и одежда которых покрыты слоем угольной пыли. Угольная пыль выступает точным семиотическим маркером шахтера, не просто констатируя факт изнурительной, грязной работы, но и, в плане структурном, являясь неотъемлемой оболочкой, дополнительной кожной поверхностью, истинной поверхностью *тела шахтера*. Покрывая его одежду, защитные и рабочие инструменты, она унифицирует их и кожную поверхность, расширяя биологическое тело. Только при наличии этого налета угольной пыли тело работника начнет функционировать семиотически в качестве *тела шахтера*. Фонарь, закрепленный на каске шахтера, – механическое расширение тела, зонд, локализирующее восприятие объекта не на границе тела и зонда, а на границе зонда и объекта [7. С. 3]; протезированный взгляд шахтера.

Фокус тела шахтера, диссонирующий с его черной оболочкой, – глаза, всегда неожиданно светлые на темном лице. Этот контраст придает изображению шахтера выразительность художественного объекта и отчасти объясняет популярность этого стереотипного портрета – часто именно изображение шахтера, а не сварщика или крестьянина, выступает в иронических или сентиментальных изображениях классовой метафорой Труда так же, как аристократическая бледность метафоризирует Капитал.

Впрочем, вне семиотического контекста субъект остается наедине с телом шахтера и глазами, глядящими из его угольной оболочки, буквально экранизируя тезис Валерия Подороги о страдающем существе, заточенном в своем теле и смотрящем на нас через отверстия – глаза – из

«своего» тела. В момент, когда появляется взгляд, обращенный к другому, продолжает Подорога, «телесная оболочка исчезает, уступая место одушевленному взгляду» [3. С. 43] (в полном соответствии с этим принципом маленький ребенок, играя в прятки, закрывает глаза или прячет верхнюю часть головы, считая, что стал невидимым. Другой исчезает, когда его взгляд не виден).

Этот одушевленный взгляд, усиленный контрастом с угольной оболочкой, предъявляет субъекту Другого во всей настоятельности его желания нашего тела [8. С. 227]. Мы имеем дело с тем же эффектом, что порождает этикет запрещать рассматривать незнакомого нам человека в общественном транспорте или в лифте, чтобы уберечь его от требований нашего взгляда и не стать объектом желания его взгляда.

Еще одна модальность существования тела шахтера является основой символического обмена – модальность мертвого тела, тела, произведенного в качестве мертвого технологической аварией. Тезис, который мы выдвинем, состоит в том, что мертвое тело шахтера в дискурсивном плане нельзя рассматривать как уничтожение, ущемление его телесности, – напротив, оно является совершенно новой спецификацией тела и в этом качестве начинает выполнять свои функции предмета символического обмена.

Возможность и даже неотвратимость *аварии на шахте* является одной из сильнейших констант регионального сознания и дискурса. *Авария на шахте* всегда имплицитно присутствует в публичной полемике по вопросам социальных, производственных, технологических тем Кузбасса (так, некоторые темы и изображения оказываются табуированы даже в столь циничной среде, как производители рекламы. Местные рекламные агентства стараются не использовать, даже в игровой форме, семиотику смерти – скелеты, мумии, мотивируя это «Здесь смерть слишком близко»). Характерной реакцией общественного мнения на проведение так называемого зомби-парада («зомби-моба», по аналогии с «флэш-мобом» – парада людей, загримированных под мертвых) является экспликация этой диспозиции: «Чушь какая-то... На чувствах людей играть... Кто-то же недавно и похоронил близких людей. Кстати, годовщина взрывов на шахтах... как бы не к месту, наверное...».

Обращаясь к вопросу о том, насколько целесообразно говорить именно о телесном измерении в данном плане анализа, следует обратить внимание на факт того, что дискурс о погибших шахтерах употребляет исключительно коллокации «тела погибших» и «тела шахтеров», реже – «погибшие шахтеры» и никогда – «мертвые шахтеры». Семантика «погибших шахтеров» указывает на коннотации трагичности и фатальности события, его принципиальной неуправляемости. Отчасти именно этим фантазматическим представлением, вероятно, объясняется пассивность регионального общества в решении проблемы техногенных и антропогенных аварий на шахтах, резонирующая с коллективным переживанием трагедии («это, прямо или косвенно, затронуло каждого»). Процесс расследования причин аварий, наказания виновных, исправления ошибок проходит совершенно вне медийного

поля и общественного дискурса; тела шахтеров и их обмен – единственное, что продолжает оставаться в фокусе внимания СМИ и публики.

Концепт *аварии на шахтах*, будучи усиленным трагическими событиями кузбасской угольной промышленности (с 2000 года в крупных авариях на угольных шахтах Кузбасса погибли 368 человек), типологически тем не менее едва ли уникален. Мы можем предположить, что в некоторых аспектах он функционирует аналогично ряду схожих событий, а именно – массовым мероприятиям и катастрофам.

В случае данного концепта мы имеем дело с двумя планами ролей тела шахтера – единицей политэкономического обмена и жертвой.

Контекст этих функций – система социальных отношений раннего и зрелого капитализма, репрезентирующих модели обмена, эквивалентности, калькулируемости, сложившаяся в XIX – начале XX в. Она сконструировала тело рабочего – механическое, деперсонифицированное, нечувствительное к боли машинное тело [2. С. 12] – и, как его логическое продолжение, фантазматическое тело либертена, объективированное анатомическим дискурсом и аутопсией; потенциально мертвое картезианское тело [9. С. 119–120]. Анатомическая механика тела знаменовала новый принцип – совпадение взгляда на тело с порядком языка. Живое тело непроницаемо и может выказывать только *симптомы*, т.е. вынуждено использовать язык; мертвое тело доступно объективному инструментальному исследованию и не нуждается в симптомах.

Мертвое тело новой эпохи, разумеется, не следует воспринимать как утратившее свою функциональность в качестве активного социального субъекта; способность тела к социальным действиям не утрачивается со смертью (уде Сада, тексты которого анализирует Энафф, мертвое тело исправно и совершенно буквально исполняет свои функции сексуального объекта) и, тем более, не прекращает (а часто – со смертью, в качестве отсутствующего объекта, только и начинает выполнять) свои структурные функции, как известный отсутствующий макгаффин (см. анализ идентификации с объектом у McGowan [10]).

Отношения эквивалентности новое тело поддерживает за счет возможности собственной инвентаризации и разделки – разложения на классифицируемые элементы [2. С. 47], подлежащие количественному учету (еще одна используемая коллокация – *фрагменты тел*) – таким образом, операциональная измеримость тела становится основой его обращения.

Как нетрудно заметить, в современности калькулируемость тел, часто – тел погибших, выступает новой мерой социального: количество тел используется для определения значимости события, принимая градации от появления новости в средствах медиа до объявления траура разной географической и временной протяженности. Способом определения значимости коллективного, например политического, мероприятия является количество присутствующих тел, документируемое съемкой с вертолета; общественные дискуссии, оценивающие эти мероприятия, оперируют почти исключительно калькуляцией присутствующих (используется сопоставление оценок разных экспертов и приборов); при наступлении форс-мажорных событий, влекущих гибель людей, именно изменение численности погибших (а не принимаемые

меры или указания, даваемые аудитории) является основным новостным событием, с вопиющим отсутствием значимости для конкретного адресата и обсессивно повторяемого.

Итак, тела шахтеров и их операциональные измерения становятся узловыми точками дискурса об аварии на шахте. Еще одна точка экспликации экономии тел, интегрирующая ценность экономического блага и обратимого тела шахтера, – материальная компенсация, получаемая семьями погибших. В последние годы информация о размере компенсаций появляется в СМИ очень быстро, обычно – в течение нескольких первых часов после трагического события, и скорость ее появления свидетельствует о ее нерациональной, фантазматической природе осуществляемого обмена. Тема компенсаций, их источников и сроков их начисления присутствует в большинстве официальных комментариев, посвященных *аварии на шахте*, помимо очевидной прагматики снижения социального напряжения, инспирируя отношения эквивалентности и исчислимости шахтерского тела.

По исчерпанию медийного потенциала трагического события компенсация продолжает циркулировать в дискурсе региона: ее гипотетическое получение предполагает, что тело шахтера уже вступило в обмен: «А металлургам нужно подождать пока [взорвется] где-нибудь и погибнут люди!!! И тогда родственникам будет счастье, деньги, путёвки», «А почему после гибели на производстве деньги и квартиры получают только шахтерские семьи? Металлурги живут круче или работа у них легче?». Таким образом, тело функционирующего, живого шахтера, включаясь в данный порядок, уже маркировано будущим обменом.

Разумеется, жизнь шахтера не обменивается на компенсацию: редуцирующий экономический империализм, последовавший в социальных науках вслед за появлением нового тела, не объяснял ни принципы этого нового тела, ни его эффекты, так как экономия тела основана на реципрокности социальных отношений, но не на экономически рациональном обмене. Тело шахтера имеет неисчислимый, не подлежащий обмену остаток, что позволяет ему включаться в альтернативный дискурс, крайне редко проговариваемый, – жертвенности, и только утраченное, отсутствующее тело может эту функцию исполнять (поэтому жанры интервью с ранеными в ходе аварии шахтерами и репортажи о них весьма редки).

Погибшие шахтеры не героизируются даже официальным догматическим дискурсом и тем более – обывателями; мемориалы в их честь – фигуры, застывшие в кататонии. Е.А. Иваненко и ее соавторы, описывая трансформацию жертвенного тела в современном дискурсе, говорят о вытеснении логики дара архаической жертвы логикой катастрофы – незапланированного события, не предполагающего осознанного жертвенного решения и соответствующих почестей, оказываемых жертве, и потому принудительно пассивной [11. С. 21]. Вопрос о релевантности данной аналогии, основанной более на лингвистической близости понятий, чем на сходстве или родстве соответствующих практик, оставим открытым.

Примирение общественного сознания с необратимой утратой (напомним, что материальные компенсации и их материальные и символические эквива-

ленты – система социальных льгот, сооружение памятных артефактов – не могут быть обменены на тело шахтера) принуждает его апеллировать к дискурсу жертвенности, перекрывая некалькулируемый и невосполненный остаток отсутствующего объекта.

### Литература

1. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. СПб.: Алетейя, 2002.
2. Энафф М. Маркиз де Сад. Изобретение тела либертена. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2005.
3. Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году. СПб: Наука, 2004.
4. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Кастань, 1996.
5. Мишель Д. Власть, управление, население: возможная археология социальной политики Мишеля Фуко // Журнал исследований социальной политики. 2003. Т. 1, № 1. С. 91–106.
6. Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995.
7. Тхостов А.Ш. Топология субъекта (опыт феноменологического исследования) // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. 1994, № 2. С. 3–13.
8. Fuchs T. The Phenomenology of Shame, Guilt and the Body in Body Dysmorphic Disorder and Depression // Journal of Phenomenological Psychology 33. 2002. № 2. С. 223–243.
9. Подорога В.А. Политики тела в европейской истории // Гуманитарные науки: теория и методология. 2005. № 4. С. 111–128.
10. McGowan T. The Impossible David Lynch. Columbia Press, 2006.
11. Иваненко Е.А., Корецкая М.А., Савенкова Е.В. Архаическое и современное тело жертвоприношения: трансформация аффектов. Дискурс жертвы. Дискурс о жертве // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер. Философия. Филология. 2012. № 2 (12). С. 17–41.

**Malyar Anna A.** Novokuznetsk Institute (Branch) of the Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russian Federation).

E-mail:

DOI: 10.17223/1998863X/37/16

### THE BODY OF A MINER IN DISCOURSE TRADITION OF COAL REGION

**Key words:** *body; discourse; subject; symbolic exchange; Other.*

Modern social-humanitarian knowledge confidently puts the body of the individual in the focus of sociological, phenomenological, cultural analysis.

On the basis of methodological positions V. Podoroga, M. Enaff describes position the Miner and "the body of a miner" as a structural component of public discourse coal region. In the context of paradigm economy physicality of modern times "the body of a miner" enters into a relationship of exchange, with the remainder no calculated producing connotations of sacrifice.

### References

1. Butler, J. (2002) *Psikhika vlasti: teorii sub"ektivatsii* [The Psychic Life of Power: Theories in Subjection]. Translated from English by Z. Babloyan. St. Petersburg: Aleteyya.
2. Henaff, M. (2005) *Markiz de Sad. Izobretenie tela libertena* [Marquis de Sade. The Invention of the Libertine Body]. Translated from French by N. Movnina. St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya.
3. Foucault, M. (2004) *Nenormal'nye: Kurs lektsiy, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1974–1975 uchebnom godu* [The Abnormal: The course of lectures delivered at the College de France in 1974–1975]. Translated from French by A.V. Shestakov. St. Petersburg: Nauka.
4. Foucault, M. (1996) *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti* [Will to truth: beyond knowledge, power and sexuality]. Translated from French. Moscow: Kastal'.
5. Michel, D. (2003) *Vlast', upravlenie, naselenie: vozmozhnaya arkhologiya sotsial'noy politiki* [Power, governance, population: the possible archeology of the social policy of Michel Mishelya Fuko].



Foucault]. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 1(1). pp. 91–106.

6. Podoroga, V.A. (1995) *Fenomenologiya tela. Vvedenie v filosofskuyu antropologiyu* [Phenomenology of the body. Introduction to philosophical anthropology]. Moscow: Ad Marginem.

7. Tkhostov, A.Sh. (1994) Topologiya sub"ekta (opyt fenomenologicheskogo issledovaniya) [Topology of the subject (phenomenological research)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psikhologiya – The Moscow University Herald. Series 14. Psychology*. 2. pp. 3–13.

8. Fuchs, T. (2002) The Phenomenology of Shame, Guilt and the Body in Body Dysmorphic Disorder and Depression. *Journal of Phenomenological Psychology*. 33(2). pp. 223–243. DOI: 10.1163/15691620260622903

9. Podoroga, V.A. (2005) Politiki tela v evropeyskoy istorii [The body politics in European history]. *Gumanitarnye nauki: teoriya i metodologiya*. 4. pp. 111–128.

10. McGowan, T. (2006) *The Impossible David Lynch*. Columbia Press.

11. Ivanenko, E.A., Koretskaya, M.A. & Savenkova, E.V. (2012) Arkhaicheskoe i sovremennoe telo zhertvoprinosheniya: transformatsiya affektov. Diskurs zhertvy. Diskurs o zhertve [The archaic and modern body of sacrifice: The transformation of affects. Discourse of the victim. Discourse on the victim]. *Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Ser. Filosofiya. Filologiya*. 2(12). pp. 17–41.